

**Предеина М.Ю.**

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского

## К ИСТОРИИ ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВОДОВ И ИНТЕРПРЕТАЦИЙ ГЁЛЬДЕРЛИНА (ИСТОРИЯ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК)

*У мові, якою ми користуємося, щоб думати, слова «стіл», «стілець», «чашка», «ложка» мають другорядне значення. Якщо ми вивчимо ці слова, зможемо відвідати їдальню, але не круглий стіл. Для останнього нам потрібні знання образів, метафор, імен. Одне і теж ім'я в історії чи літературі в різні часи може мати різне значення, навіть більше, воно продовжує своє життя лише завдяки тому, що оновлюється, приймає у собі нові смисли. В цій статті піде мова про одне з таких імен – «Гельдерлін». Луначарський в передмові, яка розпочинала перше видання Гельдерліна російською, зазначав, що Гельдерлін здобув нове життя в Веймарській республіці і перетворився з майже забутого поета на поета, якого повинен знати кожний освічений німець. Проте ми у нашому дослідженні розглянемо лише вітчизняний контекст. В нашій країні, з огляду на певні причини, німецька філософія та поезія знайшли другу батьківщину. Де ще читають Гегеля так, як у нас? А як щодо Гельдерліна, який є необхідним доповненням до Гегеля? Про двох друзів можна казати словами Геракліта: те, що сходиться, розходиться, й навпаки. Де? В чому? На ці запитання ми також дамо відповіді.*

*Стаття продовжує дослідження автора в галузі Великої Французької революції, її інтерпретації в німецькій класичній філософії та поезії романтизму й нарешті, відображення французької історії та німецької інтерпретації в історії Російської революції, точніше, в історії усвідомлення Російської революції самої себе. Автор відштовхується від того, що назви таких місяців французького політичного календаря, як термідор чи брюмер, та такі німецькі літературно-філософські імена, як Гегель чи Гельдерлін, вийшли за межі свого простору-часу та перетворилися на імена своєрідної універсальної мови, якою користуються вже в інших політичних та літературних становищах. Як не дивно, але учасники нових подій не можуть усвідомити ані самі події, ані своє місце в цих подіях без, здавалося б, чужих для них імен. Якщо попередня стаття автора була присвячена Гегелю, відображенню Французької революції в філософських поняттях Гегеля, то ця стаття присвячена Гельдерліну. Ім'я Гельдерліна свого часу слугувало навіть для орієнтації в філософії Гегеля, наприклад, Герцен в «Минулому та думках» пише, що обирає не Гегеля – берлінського професора, а Гегеля – друга Гельдерліна. Мета цієї статті – розкрити особливості становлення суб'єктивності в поезії Гельдерліна в контексті Французької революції, проявлення цієї суб'єктивності, її вплив на політичні та літературні суперечки вже іншої епохи. Автором було зроблено дослідження публіцистики про Гельдерліна, в тому числі передмов до його перших російських видань, й зовсім не випадковим в цьому контексті виглядає те, що перша передумова належить Луначарському.*

**Ключові слова:** Французька революція, Російська революція, поезія німецького романтизму, німецька класична філософія, античність в німецькій поезії та філософії, Гельдерлін, Гегель.

**Постановка проблеми.** В языке, которым мы пользуемся, я имею в виду для того, чтобы мыслить, слова стол, стул, чашка или ложка имеют весьма второстепенное значение, выучив эти слова, мы сможем посетить столовую, но, навряд ли, круглый стол. Овладеть языком – значит овладеть образами, метафорами, именами. Одно и то же имя, имя в истории или литературе, в разные временные периоды может значить разное, более того, оно продолжает жить постольку, поскольку обновляется, принимает в себя эти новые смыслы. Одним из таких имён является «Гёльдерлин».

Луначарский, предворяющий своим предисловием первое издание Гёльдерлина по-русски, отмечал, что Гёльдерлин обрёл новую жизнь в Веймарской республике и из полузабытого поэта превратился в поэта, которого должен знать каждый образованный немец. В своей статье мы, впрочем, ограничимся отечественным контекстом Гёльдерлина, поскольку в силу известных причин немецкая философия и поэзия нашла у нас вторую родину. Читают ли ещё где-то Гегеля так, как у нас? Гегеля – да, а Гёльдерлина? И это ещё один пробел, который мы намерены заполнить,

Гельдерлина у нас читают меньше, откровенно говоря, мало читают, почти не читают в то время, как Гельдерлин является необходимым дополнением к Гегелю так же, как Гегель – к Гельдерлину. О двух друзьях можно сказать словами Гераклита: сходящееся расходится, а расходящееся сходится. Где именно? И в чём? На эти вопросы мы также постараемся ответить.

**Анализ публикаций и источников.** История переводов и изданий Фридриха Гельдерлина у нас отнюдь не богата; первое издание по-русски, «Смерть Эмпедокла», состоялось в 1931-м, оно вышло с предисловием А.В. Луначарского, который выражал сомнения в том, что эта «тончайшая и чистая поэзия» найдёт у нас «широкого читателя», мы, то есть А.В. Луначарский и Я.Э. Голосовкер (переводчик и комментатор «Эмпедокла»), решаемся предложить читателю «Эмпедокла», отмечал нарком, но пока не решаемся говорить о «Гиперионе» [2, с. 14]. «Гиперион» выйдет через полвека. В предисловии Луначарский и приглашает читателя к Гельдерлину, и отваживает, поэзия Гельдерлина названа им и тончайшей, и чистой, и больной, такой, которая получает распространение в большие эпохи. В этом духе Луначарский выступал перед слушателями Коммунистической Академии, говоря, что бывают большие, извращённые эпохи, которым, вернее, падающим классам которых, всё здоровое кажется слишком грубым, они тянутся к аристократической утончённости, к ускользающей и вянущей красоте, отрицая полноту, полнокровие жизни как нечто по-народному грубое [см. 2, с. 10]. Добавило ли это его выступление «широкого читателя» предстоящему изданию? Луначарский, кажется, вступает в противоречие сам с собой, относя Гельдерлина и к ярким выразителям надежд и чаяний Французской революции, её поэзии и героики, и к болезненно нервическому, падающему миру. Разве что он рассуждает по Платону? Платон в своих диалогах спрашивал «кто стремится к здоровью, больной или здоровый?» и отвечал «тот, кто не имеет здоровья, то есть больной, здоровый же, если и желает себе здоровья, то на будущее». Тогда Гельдерлин как сын больной Германии стремился бы к французскому здоровью. Больной стремится к здоровью, в этом смысле его поэзия здорова. А здоровый? Здоровый стремится к болезни, не будем настолько диалектиками, вернее, софистами, здоровый стремится продлить своё здоровье, быть здоровым в будущем, стало быть, ... в каком отношении он стоит к поэзии больного, здоровой поэзии больного? Я позво-

лила себе поиграть в Платоновского диалектика, хотя отнюдь не думаю, что двойственность предисловия Луначарского объясняется этой диалектикой. Гельдерлин очень специфическим образом, оказывается, включён в политический контекст 20–30-х, причём в *наш* контекст, что, разумеется, не отменяет его включённости в контекст Веймарской республики, но этот контекст оставляю до другого раза. Болезненно нервическое состояние Гельдерлина, как и восторженное состояние его духа, проистекало из Французской революции, динамики её восхождения и нисхождения. Собственно, медицинскую сторону состояния поэта я здесь также до особого случая оставляю в стороне, да и не так уж она важна, поскольку мы говорим не о больном, а о *поэте*, больной Гельдерлин уже не писал, здесь, к слову, можно согласиться с Луначарским, сказавшим, что болезнь болезнью, но и больного, и здорового берёт эпоха и настраивает как инструмент. Гельдерлин как страстный приверженец *поэзии* Французской революции, кстати, не Робеспьера, а Бриссо как выразителя этой поэзии, более пламенного, чем суховатый и рассудочный Максимилиан, и, главное, выразителя этой поэзии в концепте «пропагандистской войны», мировой революции, как сказали бы в 20-е, остро, настолько остро, что это было болезненно, чувствовал, что революция попадает, попала в какую-то ловушку, в которой бьётся и не может вырваться. Гельдерлин принимал дело человечества, о чём он не раз писал в личных письмах, он умел найти, о чём писать (!), как своё собственное, может даже ближе, чем собственное. Он любил Революцию и Сюжетту Гонтар, прообраз Диотимы. Ловушка, в которую попадала Революция, переживалась им как ловушка, в которую попадает он сам; он чувствовал, что, возможно, стоит посмотреть на всё более отстранённо и потому рассудительно, как его друг Гегель, но в отличие от Гегеля, у него не получалось отстраниться. «Присутствие Гегеля действует на меня благотворно», – писал в феврале 1797-го Гельдерлин Нойферу, – «Я люблю спокойных, рассудительных людей, потому что по ним можно хорошо ориентироваться в мире, когда толком не знаешь, в какую ловушку попался ты сам и твой мир» [1, с. 366]. Гегель сумел отстраниться, Гельдерлин чувствовал, что если хочет сохранить себя, свой рассудок, должен поступить также, но не смог. Из *не-отстранённости* рождалась поэзия Гельдерлина, в этом различие двух друзей, гений Гегеля расцвёл через отстранённость, отъединения себя от событий, гений Гель-

дерлина – из не-отстранённости. Гёльдерлин не мог *иначе* писать, ловушка, в которую попал мир, нисхождение Революции к прозе, буржуазной прозе, по-немецки, прозе бюргеров, именно поэтому была ловушкой и для него, концом *его* поэзии. Некоторые считают, например, Пьер Берто, что Гёльдерлин мог изобразить душевное расстройство, шизофрению. Думаю, важнее здесь то, что в наступившие прозаические времена, времена *без надежды* Гёльдерлин писать не мог. Этот путь Гёльдерлин уже провидит в «Гиперионе». Итак, Гёльдерлин и Гегель, вместе овеванные поэзией Революции, переживают, *по-разному* переживают её прозу. Можно процитировать Фридриха Энгельса, писавшего в юбилейный год, 1889-ый, Виктору Адлеру: «Трагично то, что партия войны на смерть, войны за освобождение народов оказалась права, и республика победила всю Европу, но только уже после того, как сама эта партия была обезглавлена; и вместо пропагандистской войны наступил Базельский мир и буржуазная оргия Директории» [4, с. 267]. В этом письме Энгельс объясняет Адлеру, что Парижская Коммуна и Клоотс были за «пропагандистскую войну» (мировую революцию), в то время как Робеспьер интриговал с Австрией и Пруссией, а Дантон – с Англией. Оба они, Робеспьер и Дантон, боролись против тех, кто хотел распространить республиканский строй на всю Европу; они обезглавили партию «пропагандистской войны», после чего, правда, были вынуждены прийти за головами друг друга. Коммуна (Эбер) и Клоотс имели другую социальную программу, чем Бриссо, в этом плане Бриссо был ближе к Робеспьеру, но пропагандистом «пропагандистской войны» в *Конвенте* был Бриссо. Отсюда симпатии Гёльдерлина. Если вчитаться в то, *как* Энгельс пишет Адлеру, *почувствовать* то, что Энгельс пишет, то станет понятно, *что* чувствовал Гёльдерлин. Энгельс чувствует *трагедию* (в неопошленном, т. е. греческом смысле) по прошествии ста лет и при наличии *надежды* на рабочую революцию. То есть я хочу, чтобы мы почувствовали *боль* Гёльдерлина, без медицинских терминов. Боль Гёльдерлина проистекала не из извращённого упадничества его натуры, скорее, напротив, если позволительна некоторая вольность (судя по всему, Гёльдерлин не очень хорошо представлял, за что борются Эбер и Клоотс, то есть он не вычленил особую плебейскую тенденцию в Революции), то его упадничество проистекало не из падения падающих, а из падения поднимающихся классов. Нужно также принять во внимание, что

когда Гёльдерлин встретит французского *плебея*, то он встретит в его лице не *революционера*, а *солдата Буонапарте*, то есть лицо уже несколько жадное на добычу. Это будет период, когда, по словам Маркса, Буонапарте ставил на место перманентной революции перманентную войну. Если последним пассажем о Гёльдерлине, болезни и здоровье, подъёме и падении, я вступаю в пикировку с Луначарским, то нужно признать, что сразу *после* Луначарский говорит о Гёльдерлине совсем иное; позволю себе некоторую излишнюю точность, обусловленную тем, что я изрядно затянула это введение, о болезни Гёльдерлина и болезненных эпохах Луначарский говорит на стр. 10, а на стр. 11 пишет: «Уже его современники – и Гёте, и Шиллер, и Гегель – тревожно останавливались на этой судьбе, своеобразно на неё отвечали. Шиллер в нескольких словах упоминает о людях, подобных Гёльдерлину, об их мечтаниях, об их неплодотворности, и чувствуется, что фатальный конец, который, по мнению Шиллера, вытекает из самого их характера, не заставляет Шиллера осудить их, он скорее горько их жалеет. От этих крушений, последовавших в результате непокорности духа, веет на Шиллера чем-то внушающим ему уважение. Ещё глубже взглянул на это явление Гегель. Несомненно, Гёльдерлина имел он в виду, когда говорил о жертвах своего великого, слишком непримиримого духа. По Гегелю выходит так, что, конечно, такой протестант заслужил своего конца, тут есть его вина, но она же является, в известной степени, его заслугой, если допустить здесь некоторую игру слов. Вина таких людей в том, что они не согнулись, не вступили в компромисс с действительностью, но в этом же и их подвиг. Они гибнут, но от них остаётся некоторое светлое зарево, могущее указать путь другим. Гёте всю жизнь величественно и плодотворно, но всё-таки неуклонно отступал. Отступал и Шиллер, отступал и Гегель, каждый по своему» [2, с. 11–12]. Я позволила себе привести этот большой кусок из Луначарского потому, что, во-первых, Луначарский, безусловно, мастер стиля, во-вторых, благодаря этому мастерству он неповторимо выражает некоторое *чувство*, которое мы сейчас и попытаемся удержать. Луначарский *что-то* чувствует, его слушатели, читатели тоже *что-то* чувствуют, мы с вами это чувствуем ретроспективно, то есть для нас уже не существует вопроса Гёльдерлин или Гегель в *актуальном* ключе, другими словами, для нас обе революции, Французская и Русская, существуют ретроспективно, мы в этом смысле чувствуем,

скорее, как Энгельс, то есть мы тоже чувствуем, но наше чувство уже не может быть переведено в действие. Луначарский подвёл нас к двум позициям *по Термидору*, показал в небольшом и проникновенном отрывке их силу и слабость, причём силу и слабость *обоих* позиций, *виновность* *обоих*, здесь нет невиновных, один уклоняется от будничной, прозаической действительности, в союзе с которой только и может быть плодотворная работа, во имя идеала, другой предаёт идеал во имя этой самой плодотворной работы. Каждый принимает на себя свою вину, выходя из безгрешного состояния первых *поэтических* лет. Мне кажется, в этом ключ к двойственному впечатлению от статьи Луначарского, нельзя сказать, советует Луначарский читать Гёльдерлина или не советует, этого нельзя сказать, поскольку Луначарский передаёт решение нашему чувству: в предложениях о болезненных эпохах он, так скажем, отваживается от чтения тех, кто ничего такого не чувствует, им нет нужды в этой боли, и, с другой стороны, он даёт знать тем, кто что-то чувствует, что тут они встретятся со своей болью, то есть им есть смысл читать, если они хотят эту боль встретить, хотя опять-таки Луначарский даёт знать, что, может быть, лучше её не встречать. В конце концов, мне кажется, что Луначарский сам не знает, как *ему* чувствовать. Любопытно, что моё *чувство Луначарского* менялось по мере написания этого, так вышло, длинного абзаца, если поначалу я была склонна подать Луначарского саркастически, то под конец я уже не подавала Луначарского под тем или иным соусом, а чувствовала его. Поэтому я не стану останавливаться сейчас на работах Дьёрдя Лукача, написанных спустя пару лет после Луначарского, «*Молодой Гегель*» и «*Гиперион Гёльдерлина*», в общем они ставят перед читателем ту же дилемму, что и процитированный мною отрывок из Луначарского, хотя, мне сейчас кажется, что Лукач это делает более сухо, во всяком случае, он *определённо* выбирает Гегеля и не оставляет читателя наедине с неопределённостью.

**Постановка задачи.** Пока я постаралась показать – *кто и что* о Гёльдерлине писал и *что для кого* Гёльдерлин значил. Остаётся добавить, что Гегель у нас известен больше, но без Гёльдерлина история будет не полна, Гёльдерлин – это ещё один центр, вокруг которого вынуждена вращаться наша мысль, коль скоро она намерена мыслить о революциях в истории.

**Изложение основного материала. I.** – «Там, где эллину сияла Красота...» Гёльдерлин *пере-*

*живает, проживает* рождение субъективности; безусловно, субъективность, которую мы считаем одной из основных черт нововременной философии, присутствует не у одного Гёльдерлина, но у *Гёльдерлина* она присутствует *непосредственно*, не только как факт разума, но и как *факт чувства*, она присутствует *не-отстранённо*, её рождение *пережито* Гёльдерлином как событие *его* жизни. Прежде всего, Гёльдерлин тончайшим образом чувствует античность, своё *тождество* с нею, с её миром, её героями, само по себе это обычно для людей того времени, например, уже известный нам Клоотс принял имя *Анахарсис*, но Гёльдерлин не просто чувствует тождество, не просто отождествляет себя с эллинами, но через это отождествление он обнаруживает различие, открывает своё *не-тождество* с героями прошлого, он обнаруживает на месте античности – *пустоту*, *пустоту*, которую *должно* заполнить. Очень похоже на Гегеля, на Гегелевскую манеру мыслить и на Гегелевские выводы, но, повторюсь, Гегель сберегает себя тем, что переводит факт чувства, для него это тоже *было* чувством, в отстранённый факт разума, он отстраняет себя от себя, отстраняет свои чувства от себя для того, чтобы себя и их, чувства, урезонить. По-моему, это и есть то самое его спокойствие и та самая его рассудительность, о которых Гёльдерлин писал Нойферу. То, как Гёльдерлин открывает через тождество с античностью своё не-тождество с нею, очень близко к тому, что описывает Осип Мандельштам, поэт чувствовавший античность не менее тонко: «*Там, где эллину сияла Красота, мне из чёрных дыр зияла Срамота. Греки сбондили Елену по волнам, ну, а мне солёной пеной по губам! По губам меня помажет Пустота...*» [3, с. 161]. Для Мандельштама это своего рода итоговое обращение к родным образам, сопровождающееся их намеренным снижением; он прошёл от чувства тождественности с неким мировым процессом, начавшегося или, может быть, и не начавшегося, а вечно длящегося, длящегося, тянущегося вместе с Гомеровскими кораблями, божественной пеной, ахейскими мужами, Еленой – «*Бессонница. Гомер. Тугие паруса*» – до обнаружения его, процесса, пустоты, пустоты, которая была дана полусознанным намёком в молчании Гомера («И вот Гомер молчит...»), заявляет о себе во весь голос, если пустота может заявлять во весь голос, что она есть не что иное, как *пустота* и Гомер молчит, потому что ему нечего сказать. Я, признаюсь, процитировала Мандельштама не только для того, чтобы совершить наложение разных временных

слоїв друг на друга, хотя так тоже можно сказать, но и для того, чтобы облегчить свою задачу, не так легко найти цитату из Гёльдерлина: Гёльдерлин словно целый час держит один и тот же аккорд (образ, с которого Жан-Люк Годар начинает *часовой* фильм «Германия, год 90-ый»), при чём каждый новый аккорд лучше предыдущего или так же хорош, во всяком случае, невозможно выбрать один аккорд, который бы передал всю часовую музыку, но и невозможно привести все аккорды. Это нужно иметь в виду, потому что сейчас я дам слово Гёльдерлину, отнюдь не ручаясь, что взяла лучший из его аккордов. – «Блаженное единство, бытие в единственном смысле этого слова потеряно для нас, и нам должно было его утратить, если мы хотели его достичь и добиться», – пишет Гёльдерлин в предисловии к «Гипериону», то есть там, где он старается перевести чувства в понятия. – «Мы вырываемся из мирного «Одно и Всё» мира, чтобы вновь восстановить его, через себя самих» [1, с. 37]. Или, позвольте ещё одну, уже из предварительного фрагмента, наброска к «Гипериону»: «Пусть пройдёт то, что проходит, – воскликнул я, обращаясь к моим воодушевлённым спутникам, – оно проходит, чтобы возвратиться, оно старится, чтобы вновь стать молодым, оно разлучается, чтобы соединиться более глубоко, умирает, чтобы ожить ещё более живым». (Это нам ещё понадобится, когда мы обратимся к «Эмпедоклу», пока запомним это «умирает, чтобы ожить ещё более живым».) – «Так должны пройти, – отозвался после недолгого молчания тиниот, – предчувствия детства, чтобы возродиться истиной в уме взрослого мужа. Так отцветают прекрасные мирты юности мира, поэзия Гомера и его времени, пророчества и откровения, но зародыш, таившийся в них, обернётся по осени спелым плодом. Простота и невинность первых веков умирает, чтобы возвратиться в совершенном творении, и святой мир эдема гибнет, чтобы вновь расцвело как завоёванное достояние человечества то, что было лишь даром природы» [1, с. 29]. Так рождается субъективность; мы открываем не только невозможность и дальше пребывать в утробе мира, длить дальше это блаженное состояние, но и нежелательность этого, собственно мы совершаем *абсурдный* шаг, – мы вырываемся из блаженного состояния, чтобы ценой борьбы, завоевать его вновь. Это – абсурд, который по пятам следует за человеческой мыслью, начиная с Эсхилова Прометея. Гёльдерлин – не крестьянин, не подёнщик, что ему за дело до переделки мира? Да и подёнщику? Или мы уверены, что Париж лучше снабжался хлебом,

когда «революционная армия» (по-нашему продотряды) гр. Эбера носились по окрестностям в поисках хлеба, чем во времена блаженной памяти Луи XVI-го? Субъективность, как и её другое имя: Революция, – абсурд, абсурдный шаг и вместе с тем тот шаг, который нельзя не совершить. Дело не в том, что мы хотим совершить этот шаг или Гёльдерлин хочет его совершить, у Гёльдерлина его невозможно не совершить так же, как невозможно ребёнку навечно остаться в утробе. «Я не выбираю, не взвешиваю, – говорит Гиперион Диотиме, собираясь принять участие в борьбе за свободу Греции. Я во власти какой-то силы и не знаю даже, сам ли решаюсь на этот шаг» [1, с. 168]. Гёльдерлин начинает этот второй том «Гипериона», в котором описывает борьбу Гипериона за греческую свободу и откуда взята мною эта цитата, со строк Софокла о том, что «не родиться совсем – удел лучший», но родиться или нет, мы не выбираем и не взвешиваем, даже те, кто рождает нас, навряд ли, выбирают и взвешивают, об этом ещё у Эразма в «Похвале глупости», то есть у истоков самого важного решения в нашей жизни или для нашей жизни, того решения, с которого наша жизнь начинается, стоит абсурд. Объясню, абсурд для меня отнюдь не является словом ругательным, если я его использую, то затем, чтобы обнаружить различие родившийся субъективности с буржуазным (бюргерским) индивидуализмом, может быть, то, что я называю *абсурд*, есть абсурд с точки зрения этого индивидуализма, не более того, другими словами, решения Гипериона не укладываются в бюргерскую рациональность приходно-расходных книг; субъективность и бюргерский индивидуализм мы относим к одной нововременной эпохе, но из этого не следует, что это одно и то же, может быть, субъективность есть реакция *рыцарского* духа, рыцарство я беру не в сословном смысле, на бюргерскую рациональность, бюргерскую расчётливость. С другой стороны, как об этом не один раз писал Фридрих Энгельс, сама Французская революция совершалась не под лозунгами буржуазной (бюргерской) рациональности. Может быть, мы поторопились явно или неявно принять бюргерский взгляд на рациональность, которая, с этой точки зрения, есть расчётливость и поэтому не оставили другого слова для того, что я сейчас описываю, кроме как «абсурд». То, что я называю абсурдом, можно оправдать *post festum*: не поступи они так, не было бы того-то и того-то, иначе говоря, не поступи они так, не было бы того, что мы сегодня называем цивилизация или культура; однако в момент

решения то, что я называю абсурдом, *является* таковым, повторяюсь, мы не можем доказать, что Прометей, стоящий у истоков нашей культуры, поступил рационально (расчётливо?), что он своим поступком увеличил долю своей выгоды на общем пиру богов.

«Гиперион» – роман без интриги, мы знаем, что действие не произведёт ничего; насколько я был бы богаче надеждами, насколько счастливее, если бы *никогда* не действовал, восклицает Гиперион уже в первом письме к Беллармину, – весь роман построен как подборка писем Гипериона к Беллармину, мы вторглись в архив Беллармина и нашли пачку писем. Это очень странное чувство: мы считаем, что должны действовать, и знаем, что действие не произведёт ничего. Тот аккорд, что Гёльдерлин держит в течение часа, прикрывает то, что, действуя, мы утрачиваем блаженство, блаженство надежды, душевной чистоты и прочего, но не завоёвываем взамен ничего, вернее, именно это *ничего* мы и завоёвываем. «...цель нашего рождения – Ничто, мы любим – Ничто, верим в Ничто, трудимся, не щадя себя...» [1, с. 96]. Гёльдерлин любит Элладу, но называет её *могилой* юности человечества; Гёльдерлин говорит, что мы вырываемся из мирного блаженства «Всё и Одно, Всё в Одном, Одно во Всём», чтобы восстановить его, это блаженство, через самих себя, через своё действие, но знает, что *ничего* не будет восстановлено. Не получается ли, что Гёльдерлин знает, что Афины и Рим не возродятся в Париже? И что их невозможно возродить? Действие Гёльдерлина имеет только тот смысл, что открывает нам пустоту. Тогда роман, с которым мы имеем дело, сугубо нигилистический? Мне до недавнего времени самой казалось, что это, действительно, роман – разочарование. Но, что если открыть пустоту, это и есть цель действия? Другими словами, что если переживаемая нами Французская революция сильна не своими победами, а своими поражениями? Поражения открывают недостаточность прежнего способа мыслить. Через поражения мы и открываем пустоту. Но что такое пустота? Это – отсутствие *должной быть здесь* античности, но, может быть, античности и *не должно* было здесь быть? То есть мы мыслили античность в то время как должны были мыслить *нечто* иное. Тогда действие, к которому зовёт Гёльдерлин, имеет смысл, хотя и производит ничто, вернее, оно имеет смысл именно потому, что это ничто производит.

Так что же именно создаёт Гёльдерлин? Субъекта без объекта, того, кто пробудился слишком

рано или слишком поздно, в любом случае, не ко времени, но, тем не менее, того, чьё пробуждение необходимо *для* времени; Гипериона нельзя назвать лишним человеком, хотя по всем статьям он лишний, но он не лишний, потому что, как Солнце, – Гиперион другое имя Солнца, Гелиоса, – он оставляет, как сказал Луначарский, светлое зарево, указующее путь другим. Субъекта надломленного, что отличает его от цельных героев древности, но могущего эту надломленность вынести, превращающую эту надломленность в свою силу. «Ты не стал бы мыслящим человеком, если бы не был мятежным и страдающим человеком», – говорит Диотима Гипериону, – «Поверь мне, ты никогда бы не смог так ясно ощутить равновесие прекрасной человечности, если бы сам в такой мере не ощутил его потерю» [1, с. 157–158]. Извечно здоровый глух к болезни, но глух и к здоровью, тот, кто знал, знает болезнь, чуток и к тому, и к другому. Там, где для сына Эллады, всё заканчивается, надломленный Эдип уже не Эдип, вернее, он только *страдающий* Эдип, тот, для кого больше не светит Солнце, для нас всё только начинается, тут только и всходит *наше* Солнце. Для нас история начинается с надлома.

## II. – «Смерть Эмпедокла»

Мы попадаем в зазор, во временную и временную пустоту, человечество, безусловно, произведёт нечто, что пустоту заполнит, но без нас, мы сделали то, что могли, пришли раньше своего времени и оправдали абсурд и надлом действия, мы толкнули действие вперёд, показав пустоту старых богов, но наша жизнь длится долее, чем тот исторический акт, в котором нам довелось сыграть. То есть мы оказались перед лицом жизни, которая уже и ещё не имеет смысла, подчеркну, что эта жизнь имела смысл, как та жизнь, что произвела субъективность, но теперь... теперь самое продолжение жизни бросает тень на её творение, компрометирует субъективность. Гёльдерлин чувствует, что не может больше писать. И если вдуматься, то эта невозможность писать имеет глубокий исторический смысл, писать дольше – значит обманывать себя и других, увлекать на ложный путь, дать, как Фихте, своё имя немецкому национализму, трагедия Фихте состоит в том, что сегодня некоторые думают, что Фихте – это только национализм, он скомпрометирован национализмом, и кто знает, не скомпрометирована ли тем самым самая субъективность, я не стану приводить цитат, но при желании их нетрудно найти, цитат, в которых любая энергия, воля увязывается с национализмом, или, как Гегель, преклониться

перед Наполеоном, пусть и понятием как прогресс, другими словами, писать дольше – значит так или иначе отступать, об этом мы уже читали у Луначарского. Гёльдерлин обнаруживает бессилие мысли, свою неспособность заполнить открытую им же самим пустоту, повторюсь, в этом нет ничего постыдного, лучше признать свою неспособность пустоту заполнить, чем заполнять её чем или кем попало, но это бессилие мысли пугает Гёльдерлина, он не столько боится за свою честь, сколько за честь того, что им сделано. Эмпедокл, сказав «человек и есть бог», поднялся на вершину, на которой не знает *что* делать, он одновременно достиг и высшей точки, и низшей, его мысль замерла в то время как множество глаз следят за ним, ищут его, и эта пауза, этот перерыв в мысли бросает тень не просто на Эмпедокла, а на самое его дело, дело важнее Эмпедокла и *ему, делу*, грозит бесчестие. Эмпедокл не может умереть, потому что теперь любой дурень укажет на его мёртвое тело и скажет «назвался богом, а чем лучше дохлой собаки?». Эмпедокл не может стареть, потому что любой дурень посмеётся над его дряхлостью «старик, а назвался богом». Эмпедокл не может позволить себе усталость мысли, а между тем его мысль устала. Поднявшись на вершину, Эмпедокл обнаруживает, что ему нет места на земле. Гёльдерлин обращается к старому анекдоту об Эмпедокле, философе, назвавшемся богом, и вынужденном броситься в кратер Этны, чтобы скрыть от сограждан своё брэнное, небожественное тело. Этот анекдот, подходящий в обычном изложении на последнюю плутню великого пройдохи, в прочтении Гёльдерлина обретает отнюдь не комическое звучание. «Человек и есть бог» – с этого история начинается, но для Эмпедокла этим заканчивается. Не вина Эмпедокла, что он не знает, что делать с этим открытием, это открытие стоило ему многих, даже всех сил. Но другим, узнавшим об этом от него, это открытие не стоило ничего, и они спрашивают «что дальше?»; они правы в своём вопросе и, если неправы, то только в выборе адресата – им стоило бы спросить у себя, но спрашивают они у Эмпедокла. И поскольку Эмпедокл не может ответить, открытие становится его виной. Эмпедокл знает, что не ответит, у него нет сил, и знает, что должен сберечь открытие, иначе люди откажутся от него и его силы пропадут впустую, другому, который когда-нибудь придёт, придётся начинать сначала и, вероятно, остановиться на том же, на чём остановился он. Вечная круговерть, для разрыва которой Эмпедокл поднимается на Этну.

«Смерть Эмпедокла» готовится в «Гиперионе». Когда действие разрешилось, хоть и поражением, но разрешилось, Алабанда, друг Гипериона, испытывает странное облегчение, словно проиграл игру, которую затеял, чтобы скоротать время. «*Он был весел*», – пишет Гиперион. – «*Будущее уже утратило власть над ним*» [1, с. 221]. Эта та же странная весёлость, которую мы находим у Мандельштама после его признания, что эллинская Красота ему больше не улыбается и даже, совсем напротив, показывает кукиш: «*Я скажу тебе с последней прямокой – всё лишь бредни, шерри-бренди, ангел мой!*» [3, с. 162]. Эта та же весёлость, которая посещает Эмпедокла, решившего взойти на Этну. Вместе с тем эта странная весёлость, хоть и снимает бремя ответственности, но снимает его столь же странным образом, дело упростилось – осталось достойно умереть. Тема смерти и не просто смерти, а смерти как жертвы, данная в «Гиперионе» намёком, «*умирает, чтобы ожить ещё более живым*», получает окончательное разрешение в «Эмпедокле». Итак, Эмпедокл, сказав «человек и есть бог», не может больше *быть* человеком, не может позволить себе стареть, умирать, не может позволить себе пустые мгновения бесплодности, усталости, эта боязнь бесплодности всё чаще преследует Гёльдерлина.

*«Эмпедокл.*

И что ж, как раб, я должен пережить  
Мой день бесчестья? Так ли?

Павзаний.

Нет!

Волшебством духа твоего, о, человек!

Клянусь, я не хочу тебя позорить, нет!

Наперекор любви моей, любимый,

Я не хочу! умри, коль так! И сам

Свидетельствуй тем о себе, раз быть тому» [2, с. 97].

Я.Э. Голосовкер, автор перевода и комментария, пишет: «В диалектике темы намечаются этапы: 1-й поворот спирали темы: диалектика исцеления. 2-й поворот: диалектика жертвы. 3-й поворот должен бы дать ДИАЛЕКТИКУ ПРЕОБРАЖЕНИЯ. Она не дана. Гёльдерлин не успел: его духовно убило общество» [2, с. 127]. Хотя я в целом согласна с Голосовкером, мне представляется, что диалектика преобразования дана так, как она *могла быть дана Гёльдерлином*. Напомню, что к моменту создания «Эмпедокла» история повернулась так, что поэту оставалось преклониться либо перед немцем, что делает Фихте, либо перед Наполеоном, что делает Гегель, либо... То есть никакой позитивной программы преобразования *быть не могло*, речь шла о выборе того, перед

кем преклониться, о выборе идола. Если Гёльдерлин уклоняется от выбора идола, то он уклоняется и от жизни, итак, 1-ый поворот спирали «диалектика исцеления» происходит оттого, что поэт решает умереть, во всяком случае, умереть как поэт, это очень специфическое исцеление. Но он решает умереть не просто так, собственно его смерть-как-жертвы и запускает диалектику преобразования. 1-ый поворот спирали превращается во 2-ой, а 2-ой – в 3-ий без опосредующих звеньев, одно есть другое, одно содержится в другом, одно действует через другое: исцеление скрывает в себе жертву, поэтому оно – исцеление, жертва скрывает в себе преобразование, поэтому она – жертва. Эмпедокл говорит:

«О, дайте же природе, прежде чем возьмёт она!  
Вы томитесь по небывалому  
И, как из хворой плоти, рвётся дух  
Из оболочки ветхой Агригента.  
*Держайте!* – Что обрели, что почитали,  
Что передали предки вам, отцы:  
Закон, обряд, божеств предавних имя,  
Забудьте вы!...» [2, с. 85].

В этой речи, обращённой к согражданам, жертва *переходит, превращается* в преобразование: Эмпедокл жертвует собой, бросаясь в Этну, то есть отдавая природе прежде, чем возьмёт она, чтобы *пробудить, преобразить* сограждан – держайте! не медлите в сени ваших идолов до тех пор, пока они, обветшав, не упадут вам на головы, жертвуйте ими! Жертва, которая представлялась сперва как способ уклонения от личного бесчестия, обретает новые смыслы, речь идёт уже не об уклонении от бесчестия, а о завоевании чести. Но завоевание чести уже не может быть делом одного Эмпедокла, то есть тот вопрос, который, как я сказала, граждане Агригента адресовали Эмпедоклу «что дальше?», он переадресовывает им, тем, кому предстоит это «дальше» создать. – Эмпедокл передаёт гражданам Агригента эстафету субъективности. Это и есть *преобразование* граждан Агригента. Разумеется, это преобразование дано в абстрактной форме, но это – то, что Гёльдерлин мог сказать, его последнее слово.

**Выводы.** Гёльдерлин держит один аккорд или раз за разом возвращается к этому аккорду, не желая сойти за музыканта, скажу, что как-то мне довелось разучить песенку «фа-фа-ми, ре-ре-до, фа-фа-ми, ре-ре-до», самое интересное в ней было чередование: два удара – один, два удара – один, и вот теперь прежде чем перейти к дальнейшему разговору, я хочу повторить то место, где два удара, а два удара у Гёльдерлина – на субъ-

ективности. Если Гегель в «Феноменологии духа» оставляет нам *проблему* Французской революции, то Гёльдерлин – *чувство*; если без разрешения проблемы нашим разумом, мы не продвинемся ни на йоту, то без чувства – мы и не подойдём к проблеме. Если в введении Гегель и Гёльдерлин были поняты мною как расходящиеся, то теперь – как сходящиеся, прав был Гераклит, сказавший, что расходящееся сходится, а сходящееся расходится. Фраза, известная своей туманностью, и как и всё туманное, проясняющееся на деле. Гегель и Гёльдерлин нам оставляют... Что они нам оставляют? Итак, двойной удар по клавишам, субъективность, – субъективность с двух сторон обрамляет одинарный удар, то есть смерть, субъективность умирает и рождается вновь; процитирую «Песнь судьбы» из «Гипериона», с которой встретила дважды, собственно в «Гиперионе» и в «Эмпедокле»: Голосовкер, завершив «Эмпедокла», вставляет «Песнь судьбы», также переведённую им, между «Эмпедоклом» и своим «Комментарием»:

«В свете горнем  
Тропами лёгкими  
Бродите вы, беспечальные гении!  
Чуть коснутся вас  
Веянья светлые,  
Словно пальцы арфистки  
Священных струн.  
Судьбы не ведая,  
Словно дитя во сне,  
Дышат небесные,  
Чисто храним  
В почке стыдливой,  
Вечно цветёт у них дух.  
И тихо сияет  
Ясностью вечной  
Взор беспечальный у них.  
Но нам не дано  
Мига для отдыха.  
Люди преходят  
В горьких страданиях,  
Падают слепо,  
С часу на час,  
Как на уступ с уступа  
Год за годом  
Воды стремниной на срыв» [2, с. 109].

*Прим.* – «*преходят*» – так в тексте, вероятно, приставка взята в значении «пере-», переходят.

Это двойное повторение оправдано тем, что теперь мы *знаем* о значении античности. Гении античности, как боги Эпикура, блаженны, беспечальны, но бесплодны, бесплодны и бесплотны, как лёгкие тени, их дух пребывает в почке, *цвете-*



*tēt в почке*, то есть цветёт, не распускаясь, цветёт, не цветя, их дух *чист*, потому что не выходил из почки, чист в своей стыдливости, почка – вечное обещание, которое не сбывается. Эти гении прекрасны, но там, где они пребывают нет времени, их жизнь не отличима от смерти, *что* у них, в горнем царстве, *что* в Аиде, нигде нет действия и нигде оно невозможно, ни там, ни там действие не имеет смысла. Действие приходит с человеком, с нами, и этим человек оказывается выше гениев. «Неужели ты предпочёл бы вечно быть младенцем и дремать, как Ничто? Существовать, не зная победы? Не подняться до совершенства, пройдя все ступени до единой? Да, да! Скорбь – достойное бремя на сердце человеческом...» [1, с. 243]. Это настойчивое стремление оставить родину и превращает Гёльдерлина в того, кто на языке Делёза и Гваттари называется «шизофреник», это слово можно было бы использовать, если понимать так, что «шизофрения» не зависит от нашего выбора так же, как расставание с родиной, вспомним, признание Гипериона Диотиме о том, что он не выбирает и не взвешивает, но вместе с тем то, что он не выбирает и не взвешивает, не снимает с него ответственности, если Агамемнон взвалил все свои грехи на богиню Раздора, она, проклятая, легко ступает по

главам человеком, что я-то могу? то Гиперион... «Но никто не вправе утверждать, что нас различает судьба! Нет, в этом мы, мы сами повинны! Мы испытываем наслаждение, бросаясь во мрак неизвестности, на холодную чужбину какого-нибудь нового мира, и, будь это возможно, покинули бы царство солнца и вырвались бы за пределы планет. Ах, для вольного сердца человеческого не существует родины; и, как луч солнца опалает им же вызванные к жизни земные растения, так человек сам губит прелестные цветы, распутившиеся в его сердце, – радости родства и любви» [1, с. 55–56]. Прежде чем начать действовать, человек уже губит родство и любовь, а сколько всего он погубит, действуя? И, между тем, ... Субъективность, возможно, это моё субъективное видение, представлялась мне как радость, победа, победа Возрождения над тьмой Средневековья, и мне кажется, что французские просветители смотрят на это дело так, как смотрела я; у Гёльдерлина мы видим другую субъективность, Гегель и Гёльдерлин проблематизировали субъективность, усложнив самое Возрождение, можно вспомнить, как теперь непросто выглядит Возрождение, например, у Бертольда Брехта, в его «Галилее». Субъективность больше нерадостна, но по-прежнему необходима.

#### Список литературы:

1. Гёльдерлин Ф. Гиперион. Стихи. Письма. Москва : Наука, 1988, 717 с.
2. Гёльдерлин Ф. Смерть Эмпедокла. Москва ; Ленинград : Academia, 1931, 136 с.
3. Мандельштам О.Э. «Я скажу тебе с последней прямокой...» : собр. соч. в 4-х тт. Москва : «ТЕРРА» – «TERRA», 1991, т. 1, с. 161–162.
4. Энгельс Ф. Викторю Адлеру, 4 декабря 1889 г. Сочинения, 2-е изд. Москва : Политиздат, 1965, т. 37, С. 266–267.

#### Predeina M.Yu. TO THE HISTORY OF EDITIONS, TRANSLATIONS AND INTERPRETATIONS OF HÖLDERLIN (HISTORY AS A UNIVERSAL LANGUAGE)

*For our thinking, the words “table”, “chair”, “cup” or “spoon” are of secondary importance. These words will allow you to think about visiting the dining room, but will be useless at the round table. In order to think about something unusual, for example, about revolutions in history, we need images, metaphors, names. The same name of history or literature in different eras means different things; moreover, it continues to live, as it takes on new meanings. One of these names is the name “Hölderlin”. Lunacharsky in the preface of the first edition of Hölderlin in Russian wrote that Hölderlin had found a new life in the Weimar Republic and from an almost forgotten poet turned into a poet known to every educated German. In my article, I will confine myself to the domestic context, since we have German philosophy and poetry, for well-known reasons, found a second homeland. Do they read Hegel somewhere else like we do? Hegel – yes, and Hölderlin? I intend to fill this gap. Hölderlin is a necessary addition to Hegel just as Hegel is to Hölderlin. About two friends can be said in the words of Heraclitus: what converges, diverges and vice versa. What exactly? I will also answer this question.*

*The article continues the author's research in the history of the French Revolution, its understanding in German classical philosophy and poetry of German Romanticism, the reflection of this French history and its German interpretation in the history of the Russian revolution, or rather, in the history of awareness of the Russian revolution itself. The author proceeds from the fact that the names of such months of the French political calendar, as Thermidor and Brumer, or such German philosophical and literary names, as Hegel and Hölderlin, went beyond the limits of their space-time and turned into names of a kind of universal language already used in others political and literary situations. It is not paradoxical, but the participants of new*

---

*situations are not able to realize themselves and their place in a situation without these as if alien names for them. If the previous article of the author, published in No. 1 of Tom 30th (69th) of this journal, was devoted to Hegel, the refraction of the French revolution in philosophy, in terms of Hegel, then this is – Hölderlin. The name of Hölderlin served at the time for orientation, including in the philosophy of Hegel, for example, Herzen wrote in “Past and Thoughts” that he chooses not Hegel, the Berlin professor, but Hegel, Hölderlin’s friend. The objectives of this article are to research of the formation of Hölderlin’s subjectivity in the context of the French Revolution and the manifestation of this subjectivity, its influence on the political and literary disputes of a different era. To achieve the second goal, the author investigated the journalism about Hölderlin, including the prefaces to his first Russian editions. It is interesting, although it is probably not accidental that the first preface was written by Lunacharsky.*

**Key words:** *French revolution, Russian revolution, poetry of German romanticism, German classical philosophy, antiquity in German poetry and philosophy, Hölderlin, Hegel.*